

Филипп Лаку-Лабарт

Дань верности*

Я не хочу говорить. И Я тоже.

[Должен предупредить: все это, по большей части, незаконченный набросок, импровизация – но не в том смысле, в каком он сам так говорил, разложив перед собой, мы все свидетели, три десятка машинописных страниц, «По меньшей мере».]

С какой стороны ни подступись, сказать *ничего*. Способность говорить как отрезало. Траур, как и смерть, нельзя ни с кем разделить. Мы остаемся в *одиночестве* – тревожное слово, о котором никто не знает, откуда оно берется.

И все же он, Жак, еще успел сказать, по ту сторону любого возможного слова. Он в последний раз бросил вызов абсолютному условию, невозможному как таковому, которое он называл безусловным условием: он превозмог запрет на слово, запрет того «шага *вовне*», который Бланшо распознал в письме, как он его мыслил: буквой, всегда уже мертвой и бесконечно переживающей. И все чтобы подарить нам, на следующий день, заг-

* В скобках – пассажи, отсутствовавшие или не полностью развитые в моем выступлении 21 октября 2004 г.

робным голосом, оказавшимся, на тот момент, голосом Пьера, но также и *его* голосом – я никогда не перестану его слышать, – свое благословение. Иначе говоря – столь велика была его щедрость, – абсолютную уникальность своего слога (*diction*).

И вот он, умозрительный философ, первый из метафизиков после нескончаемого крушения всех метафизик; в «безумьи Разума», о котором вспоминает Жан-Люк, он высказал именно то, что только и могло развеять удрученность, замкнуть накоротко сожаленье, освободить. Нет, он не снял траур, который называл, снова и снова, изначальным; надрыв был не в его стиле. Зато он нас вернул к элементарной простоте нашей единственности, к нашей искренности – той самой, что всегда нам – всем нам – позволяла собирать самих себя в нашем смертном подобии, которое и составляет нашу похожесть, помимо всякого притворства и лукавства. И в этом мы испытали – момент бессмертия.

Вот почему нам остается, в свою очередь, сказать, проговорить *ничто*, пусть даже почти *ничто*, сколь бы неизмеримо трудно ни было. Как дань верности, но без верноподданничества, – человеку, отныне праху, с подобающим смирением. А значит, без исступления – никакой *мета*: нимии, форы, болы, лепсиса, тезы, физики и т.п. В память о нем, вырванном с корнями, питавшем столько недоверия ко всякой «радикальности», подobaет суметь остаться, как говорится, «у земли».

Итак, я сразу же скажу несколько слов о нашей дружбе – о той особенной любви, которую я, несомненно, к нему испытывал. Это чувство родилось от восхищения – мыслителем, писателем, – которым я проникся сразу после прочтения его первых текстов в 1962 году. Я к этому еще вернусь. И завязалась эта дружба с первой же нашей встречи лет через восемь в Страсбурге, куда он приехал как один из трех первых гостей нашей небольшой «исследовательской группы», которую нам с Жан-Люком удалось основать около 1968 года. Три вещи поразили меня, запали в душу: бесконечная печаль во взгляде, когда он выходил с вокзала вместе с Женеттом, еще не видя нас с Жан-Люком, приехавших их встретить: взгляд Кафки на фотографиях, или Целана

(и, между прочим, первые же его слова к нам были о смерти Целана, о которой он только что узнал). Затем его невероятная самостоятельность, раскованность, которой его доклад («Белая мифология») поистине ошеломил меня, оглушил, лишил дара речи, так что я долго вообще не находил слов (но тут же, как молния, – его благожелательность, и больше, чем простая внимательность: его улыбка...). Наконец, уже вечером – против всякого ожидания, – его веселость, живость, или скорее радость, которая могла внезапно находить на него. (Еще мне вспоминается его смех – такой детский, такой чистый, – когда наш друг Люсьен Браун принялся ему втолковывать, причем сам без тени улыбки, что брат Хайдеггера Фриц был куда умнее Мартина; спустя три-четыре месяца он все еще шутил с нами в Страсбурге, вспоминая об этом.) Словом, ничего общего с каким-либо нигилистическим *габитусом*, или с какой-то «меланхолией». Но вместе с тем – и ничего «фривольного», поскольку это слово, увы, прозвучало. Нет, печаль взгляда оберегала внутреннюю радость, неподражаемую щедрость. То был урок жизни.

И эта дружба хранилась нами тридцать лет, хранилась на рас-стоянии (так он транскрибировал *Ent-fernung* Хайдеггера), то есть в странной близости: непрерывный диалог, иногда излишне живой (разноголосье, если угодно), внимание к творчеству друг друга, общие темы: в каком-то смысле, верная неверность, как он сам выражался, которая – мы много раз об этом говорили – есть, собственно, парадоксальность трагического по Гёльдерлину. Впрочем, в нашем случае – ничего «трагического». Доверие оставалось нерушимым. Например, я никогда, можно сказать, не звонил по телефону. И не только потому, что телефон так и не стал для меня чем-то привычным или мне это всегда казалось слишком мучительным. Дело в том, что перед ним, как ни перед кем другим, я робел – правду сказать, комплексовал. Он знал это, он всегда это знал. Он улыбался, ему случалось даже подсмеиваться над этим. Глубокая до слез, стоит мне вспомнить о ней, дружба эта оставалась необитаемой. И очень хорошо, что так.

Отсюда, как следствие, мое как минимум безмерное уважение к его мысли. Именно на это я только что намекнул. И у меня уже был случай об этом говорить. Я вспоминаю: память верна. Я занимался своими исследованиями. Несколько запоздало, я увлекся философией: с одной стороны, потому что Женетт и Ипполит подтолкнули меня к этому, с другой – или одной из других – потому что я был покорен Хайдеггером. «Шаг *вовне*», начиная с того времени, я это знаю (смутно, но знаю), моего запойного чтения Батая и Бланшо, как и моего увлечения политикой – назовем это нашим тогдашним (1956 – 1968) словом «консультизм» (а нас тогда было много). Итак, покорен Хайдеггером; и Гранель, как преподаватель, сыграл здесь немалую роль: то была еще одна сторона. Покорен *вопреки*: вопреки негоднованию и отвращению к его политическим прошлому и настоящему; и еще вопреки, пусть сегодня это звучит банально, моей сдержанности – по меньшей мере – в отношении приглушенной религиозности его мысли, местечкового пиетета его учеников (во всяком случае французских), той характерной поэтико-философской простоватости, расплывчатой и полублаженной мистики – крестьянской, «неолитической» (когда опустошение достигает предела), – которой, можно сказать, пахивают его тексты. [Я вспоминаю, память есть верность: «Доклады и статьи», прежде всего «Мойру», и «Строить, обитать, мыслить», прочитанные летом 1958-го, но долго остававшиеся непонятыми.]

И тут является он, Жак, свободный, ничуть не оробевший, тем более не комплексующий, хотя, быть может, тоже покоренный; но так, как он мог быть покорен и Гегелем, да и вообще всеми фигурами (по праву избегающими фигурации) «скончания философии». Он заново открыл всё и привел в движение, при помощи изобретенных или введенных им в оборот слов и понятий (письмо, грамма, след...) – точнее, покоробленных (если можно так перевести *Verwindung*) понятий Хайдеггера: различае, теперь в отрыве от всякой онтологии, деконструкция, теперь в отрыве от всякой лютеровской герменевтики, от критики Просвещения (или Маркса), от ницше-

вского «динамита» и, возможно, от самого *Abbau* – по Гуссерлю или по Хайдеггеру. Он подарил мне, он подарил нам всем силу, необходимую, чтобы оторваться: как оказалось, Хайдеггера можно читать иначе и, опираясь на это иначе, – вообще всю философию, которая тогда нам представлялась важной. Поэтому он стал, он есть и он останется не только шансом Хайдеггера – шансом (продолжить) философствовать даже тогда, когда «иная мысль» сочла себя обязанной отпрянуть от своего «предмета», своих причин и следствий – самых мрачных, самых непризнаваемых – и погрязла в прикладной духовности и благочестии, в безволии собственного слога, скатившегося до мифологизирующей *Dichtung*. Но кроме этого он стал, он есть и он останется выпавшим шансом – не падения, но исторической каденции западной мысли – он, что со столь деликатным и жестоким вниманием неустанно «сопровождал метафизику в момент ее падения» (как однажды сказал, по-моему, Адорно). Он – он, который, невозможно это отрицать, составляет плоть от плоти этой мысли, если брать ее в целом, благодаря своей необычайной силе и своей необычайной тонкости, благодаря красоте своего письма, своему *гению* (надо же называть вещи своими именами!), – есть один из величайших представителей ее или хранителей: это само по себе свидетельство *пере-жизвания* философии – в том смысле, в каком он это понимал.

И последнее слово, если позволите. Так я прошу разрешения сказать «больше» слова. Это мой способ быть верным.

То, что я только что сказал, по большей части восходит – что толку это скрывать – к разговору, состоявшемуся у меня утром 9 октября с той, кто разделяет мое неразделяемое существование и кого он с улыбкой называл «излишне пронизательной». Она сказала мне сквозь слезы: это был Праведник. Я согласился: да. И в голове пронеслось: «Приветствую тебя, о Справедливость». Я подумал: ведь это единственная вещь, единственная «причина», которой *нужно* говорить «да». Я никогда от этого не отрекнусь.

Ведь так случилось, что в то же время – я хочу сказать, в эти последние месяцы – я все выжидал случая (шанса) задать ему вопрос: почему «недеконструируемое» есть справедливость? Или почему справедливость «недеконструируема»? И почему *нужно*, чтобы вообще было «недеконструируемое»? То был элементарный вопрос, или скорее «наивный», в самом что ни на есть древнем смысле. Я не мог, я никогда не мог перестать думать о несправедливости, заставляющей нас рождаться, то есть умирать. Вероятно, это имеет какое-то отношение к «трагической мудрости» Силена, о которой толкует Ницше. Только я перед лицом этой несправедливости никогда не мог сдержать ярости, этого старого философского *пафоса* (и как раз-то, справедливости ради нужно отметить, не трагического), который, впрочем, и ему самому не был чужд[: был ведь и «Деррида яростный»].

Я едва начал формулировать этот вопрос. Осмелился ли бы я вообще задать его ему? Сегодня, во всяком случае, я отказываюсь давать ему видимость артикуляции. [Я заметил, что он должен иметь касательство к смыслу (латинского) слова «справедливость» и к тому, что память философского языка – но не научная филология и в еще меньшей степени постромантический этимологизм – все еще могла услышать в греческих словах *dikè* (глагол *deiknumi*, показывать, заставлять или позволять явиться, латинские *dicere* и *dictare*, немецкое *Dichtung*, французское *diction* и т.д.) и *Thémis* – которая, возможно, как-то связана (что было бы только справедливо) именно с *thésis*, как и с глаголом *tithèmi*. Не обнаружился ли здесь, в конечном счете, риск феноменальной или поэтической стабилизации деконструкции, ее инсталляции?]

На этом я остановлюсь. Вопросание – это не «пиетет мысли». [И, в данном случае, не признак какого-либо непослушания, вызова или критического позыва.] Это невозможный *дар* дружбы.

И ты больше не ответишь.

Но ты бы сказал, ты, Праведник: все хорошо.

Но это твое молчание, отныне и впредь, – вот, во всяком случае, задача, которую ты нам завещал, – нам и другим, которые придут после. Как делает всякая великая мысль. Не для того, чтобы ответить от твоего имени, этого никто никогда не сможет.

Но лишь затем, чтобы продолжить – оставшееся время.

[Тебе я говорю то, что не говорю никогда:] «Аминь».

Валерий Подорога

Близкий чужой слепой

Опыт деконструкции образа

Заметки после просмотра фильма о Жаке Деррида.
Государственный центр современного искусства,
20 января 2005 г.

В ожидании начала фильма «D'ailleurs, Jacques Derrida» («Жак Деррида отовсюду», реж. С. Фатхи, 2000 г.)¹ чувствую радость скорой встречи, как будто нет между нами этой жуткой купюры, обрыва, трещины – смерти – и снова передо мной появится Ж. так же неожиданно, как тогда на авеню Распай. Фильм начинается, Ж. в кадре: вот он подымается по крутой лестнице от пляжа, а позади него, за правым плечом, безбрежное море с долгой и ровной во весь залив волной, сливающейся к горизонту с бело-голубой воздушной завесой. Ж. с убеленной шевелюрой, молодым лицом, живой и подвижный... Моего приветствия он не замечает. Много, очень много воздуха, легко дышать. Сдержанность и осторожная невозмутимость скользящего взгляда Ж., побуждающего меня к воспоминаниям и тут же уходящего в сторону, – не опередить... А какой еще взгляд ты ожидал? Ты что же думал, что встреча действительно возможна и

¹ Первые заметки я сделал сразу же после просмотра фильма, потом все замедлилось, постепенно наиболее яркие впечатления стали уходить, замещаясь размышлениями о всем творчестве и методе ЖД. Не знаю, но мне кажется, фильм хоть и информативен, но чрезвычайно слаб в биографическом и авто-биографическом измерении. Я ничего не узнаю нового, и даже те образы, которые могли быть, – их тоже там не оказалось.